Москва

7
2018

Журнал русской культуры

Выходит с марта 1957 г.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Союз писателей России
Российский Фонд Мира
Трудовой коллектив
журнала «Москва»

16+



7
2018

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Борис СПОРОВ. **Гога и Серега.** *Рассказ* 3
Карина СЕЙДАМЕТОВА. **Перемена ветра.** *Стихи* 25
Сергей АКЧУРИН. **Божественное стадо.** *Роман* 29
Ольга СМИРНОВА. **Родительский дом.** *Стихи* 105
Юрий НИКИТИН. **Паства.** *Рассказ* 110
Леонид СОВЕТНИКОВ. **Как весть о том…** *Стихи* 115

ПУБЛИЦИСТИКА

Михаил СМОЛИН. **Вековая связь** 122
Светлана ЗАМЛЕЛОВА. **Архитектоника ненависти** 132

КУЛЬТУРА

Священник Константин КРАВЦОВ. **Русский апокалипсис: агнцы и козлища** 141
Андрей ГАЛАМАГА. **Театр — дело веселое. Но трудное** 199

МОСКОВСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Рецензии на книги: Анатолий НИКИФОРОВ. **Экологический набат.** — Павел БАСИНСКИЙ. **Посмотрите на меня: Тайная история Лизы Дьяконовой.** — **Великий князь Николай Константинович. 1850–1918: Биография и документы.** — Алексей ИВАНОВ. **Тобол** 204

МОСКОВСКАЯ ТЕТРАДЬ

Михаил ВОСТРЫШЕВ. **Водопровод и канализация** 221

ДОМАШНЯЯ ЦЕРКОВЬ

Священник Валерий ДУХАНИН. **Жизнь в тысячу рублей, или К чему приводит осуждение** 225
Священник Димитрий ШИШКИН. **Воля Божия** 229
Протоиерей Алексей ЧАПЛИН. **Святость воинского служения по учению Церкви** 232

Главный редактор В.В. АРТЕМОВ (495) 691-71-10

Генеральный директор В.В. КОВАЛЕВ (495) 691-83-91

Заместитель главного редактора М.М. ПОПОВ (495) 691-71-10
Ответственный секретарь О.И. КИРЕЕНКО (495) 691-83-64
Отдел прозы и поэзии Т.А. НЕРЕТИНА (495) 691-68-01
Домашняя церковь С.И. НОСЕНКО (495) 691-68-01

Главный бухгалтер Л.Э. БУДНИКОВА (495) 691-83-84
Заведующая редакцией М.В. БИКАШОВА (495) 691-71-10
Корректор О.И. ИВАНОВА
Технический редактор Е.Ю. ЕРОФЕЕВА

Общественный совет:
игумен ЕВФИМИЙ (МОИСЕЕВ), П.Н. КРАСНОВ, В.Н. КРУПИН, В.А. КУЛЬЧИЦКИЙ, П.В. МУЛЬТАТУЛИ, А.С. САЛУЦКИЙ, М.Б. СМОЛИН (председатель), митрополит ТИХОН (ШЕВКУНОВ)

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Отклоненные рукописи сохраняются в течение года. Рукописи, присланные по электронной почте, не рассматриваются. Материалы принимаются только в распечатанном виде по адресу редакции. Журнал не публикует поэмы, либретто и сценарии.

Подписано в печать 13.06.18. Формат 70x108 1/16. Бумага газетная. Печать офсетная.
Тираж 1480 экз. Заказ 2373-2018.

Свидетельство о регистрации № 554 от 29 декабря 1990 года Министерства печати Российской Федерации

Подписные индексы: 73253 — каталог РОСПЕЧАТЬ, **15612** — «Пресса России», **45211** — каталог «МАП».

Адрес редакции: 119002, Москва, ул. Арбат, д. 20. Телефон +7(495) 691-71-10. Факс +7(495) 691-07-32.

Электронная версия журнала: www.moskvam.ru

e-mail: priem@moskvam.ru

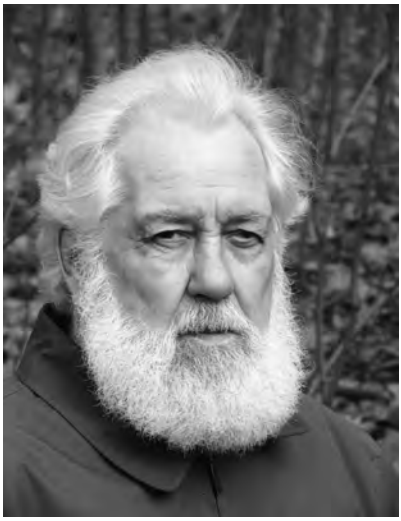
Отпечатано в АО «Красная Звезда». 123007, г. Москва, Хорошевское ш., 38. Тел.: (495) 941-28-62, (495) 941-34-72, (495) 941-31-62. Сайт: www.redstarph.ru; e-mail: kr_zvezda@mail.ru.

ISSN 0131–2332

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

© Журнал «Москва» № 7, 2018

БОРИС СПОРОВ



ГОГА И СЕРЕГА

Борис Федорович Споров родился в 1934 году в Актюбинске.

Работал на строительстве Горьковской ГЭС слесарем, электросварщиком, сборщиком и монтажником.

В 1957 году был арестован и осужден за религиозную пропаганду. После освобождения окончил Литературный институт имени А.М. Горького.

Работал школьным учителем, журналистом в газетах, московских журналах «Наш современник», «Журнал Московской Патриархии», «Москва», в издательствах «Современник», «Отчий дом».

Автор книг «Выход», «Семь Касьянов», «Антонов огонь», «После войны», «Наследники», «На пути к вере», «Федор», «Осада» и др.

Награжден литературными премиями и дипломами.

Член Союза писателей России.

Живет в Москве.

РАССКАЗ

1

Последние тринадцать лет Рулин, Сергей Николаевич, жил в небольшом районном городе в восьмидесяти километрах от родной Первопрестольной. Жил он в собственной половине шлакоблочного дома, жил замкнуто, отчужденно, стараясь вовсе не общаться даже с соседями. И лишь изредка выбирался в столицу навестить старшую сестру.

Половина дома для одного представлялась когда-то мечтой: летняя веранда, кухня с газовой плитой и колонкой для отопления, с водой, налево дверь — в комнату-кабинет, прямо дверь — в просторную горницу с четырьмя высокими окнами в запущенный яблоневый садик на четырех сотках. Дом на тихой окраине города, так что легко поверить, что для Рулина, коренного москвича, такой и представлялась давняя мечта. Особенно летом, особенно если лето солнечное — в садике рай! И на веранде хорошо, и в комнатах прохладно, но в садике — отдохновение...

С холостяцким хозяйством и поварским делом Рулин управлялся без особых затруднений даже в свои за семьдесят. Кроме пенсии, никаких доходов. Жил Рулин даже излишне скромно, однако от этого не страдал. Были у него занятия и для души. Как в молодости, нередко до полуночи просиживал он за письменным столом. Уж что он писал или читал, бог весть, но когда поднимался из-за стола, то непременно устало улыбался, придерживая себя ладонями под ребра.

Был он по сегодняшним меркам роста ниже среднего, не широк в плечах, телом не тучен, даже худосочен, лицом благообразен, с обильно поседевшими бородой и усами, всегда аккуратно постриженными и подбритыми по краям. И брови с проседью, а вот карие глаза хотя и усталые, но спокой-

ные и даже молодые, с добродушной глубиной. Говор его, как и в молодости, был ироничен и в то же время мягок. Смолоду он недурно пел под гитару. И теперь изредка перебирал струны, однако запеть как будто не решался.

Жизнь протекала размеренно и однообразно: отходил ко сну поздно; если спал, то просыпался поздно; по-дворянски поздно завтракал и обедал, вместо ужина перекусывал... После обеда обычно выходил прогуляться по магазинам за продуктами на день грядущий или на неделю. И о себе Рулин заботился, был опрятен и чист. Словом, один — всем доволен и не отвлекался ни на кого.

А весной и летом, когда солнце, он выносил с веранды шезлонг и часами с книгой в руках или вовсе без книги дремал в тени старых яблонь. Собак не любил, а вот невзрачный кот у него ютился — тоже самостоятельный, независимый, в друзья не притирался.

Кабинетом Рулину служила крохотная комнатка, уютное гнездо с одним окном. Справа односпальная кровать; под окном письменный стол с компьютером, широкий стул с меховой подстилкой, а слева во всю стену не заполненный книгами стеллаж. А в изголовье кровати в углу полка — кивотом и не назовешь — с иконами и лампадой. Здесь в основном и протекали его дни последних лет.

Под окном вишня, ближе к калитке куст жасмина. В теплые дни июня Рулин открывал на всю ночь окно — и душа радовалась. (Он не боялся, что его ограбят или обидят.) Господи, как хорошо в уединении и тишине, когда даже соседей по дому не слышно, а за окном по дороге машина если что заблудившаяся.

Именно такое время выдалось, именно при открытом окне, до завтрака, Рулин щурился под лучиками солнца, пробивавшимися через сплошную зелень деревьев, когда тихо зазвучала мелодия мобильного телефона.

Рулин кашлянул, прочистил горло, прежде чем ответить:

— Слушаю вас...

— Это хорошо...

— Что изволите, сударь?

— А сударь изволит знать: вы сегодня дома?

— Если для того, то я всегда дома. Кто спрашивает?.. Что же вы, сударь, молчите? — с усмешкой попытал Рулин. — Или заклинило?

— Если для этого, то заклинило...

И связь прервалась, но ведь остался номер телефона. Похоже было, что говорил иностранец, хорошо овладевший русским языком. И появилось желание позвонить вдогонку — объяснить бестактность. Но это было лишь кратковременное желание.

2

Звонков случайных и рекламных тьма. К подобному разряду отнес он и этот звонок. Пока умывался, приводил себя в порядок, пока собирал на веранду завтрак, пока мыл чайник и заваривал зеленый чай (явился Котик — его накормил) и наконец подступил к приятному занятию — сел к приготовленному столу, принюхиваясь к запаху чая... А между тем времени прошло более часа.

И всего-то приступил к завтраку, когда на дороге напротив калитки бесшумно остановилась престижная иномарка. С минуту никто не появ-

лялся, наконец с левой стороны, придерживаясь за дверцу, из салона поднялся с портфелем в руке гладкий, ухоженный мужчина, похоже средних лет. Пройдясь взглядом по сторонам, он направился к запертой на засов калитке.

«Ошибся номером, что ли?» — с трудом наблюдая через мелкие оконные звенья веранды, подумал Рулин и тотчас вспомнил о телефонном звонке.

В то же время с другой стороны из машины выбрался, видимо, шофер. С заднего сиденья извлек два заполненных пакета и застыл, выжидая, не отходя от машины.

Мужчина торкнулся раз-другой в калитку и покивал рукой невидимому хозяину, приглашая, видимо, к разговору.

«Что за гость?» — Рулин недоуменно хмыкнул, поднялся из-за стола и вышел на голое крыльцо-приступки.

— Вам кого? — окликнул спокойно.

— Тебя, тебя, Сергей Николаевич, ходи сюда — открывай.

И что-то давно знакомое и близкое прозвучало в этом голосе, в этих словах. Калитка высокая, с земли человека не видно. Рулин пошел к калитке, поварчивая в душе: «И что за гусь явился... Чай остынет». Щелкнул засов, и Рулин отвел калитку на сторону.

— Ён, только бородой обрядился. — И гость тотчас обратился к шоферу: — Проходите сюда.

И шофер, в тенниске-безрукавке, при галстуке, степенно последовал к калитке.

— Простите, но вам кого? — повторил Рулин.

— Тебя, тебя, Рулин с пересылки, — и так знакомо натянулась кожа на его горле при усмешке, что сомнений не было.

Лицо Рулина исказилось в изумлении — не верилось, никак. И он, на сегодня не свойственно ему, сказал, как будто лицом в стену приложился:

— Гога! Блин...

И гость засмеялся, правда, глаза его не озарились, глазами он как будто прощупывал хозяина:

— Забыл я Гогу! Полвека не зовут так! — И тоже как лицом в стену. — Так вот, Серега!

И они невольно обнялись, но от поцелуев оба воздержались.

Гога — а был это Муравьев, Игорь Ефимович, — вновь распорядился:

— Бери пакет.

Второй у шофера взял сам.

— Я не знаю, сколько здесь пробуду. Вы можете быть свободны. При надобности я позвоню.

Шофер слегка склонил голову и, не проронив ни слова, пошел к машине. А Рулин приметил — номер дипломатический.

Вошли на веранду. Мотнув головой, не оглядываясь на гостя, Рулин изумился:

— Ну, брат, сорок лет спустя...

— А познакомились мы в первом классе...

Рулин оглянулся, и горько изогнулись его губы.

— Теперь, если что, заново надо знакомиться...

Муравьев предусмотрительно прихватил с собой и вина, и закуски, и сладости, которые он чрезмерно любил, и фирменный чай — словом, все, чтобы не бегать в магазин за просроченными консервами.

— Во-первых, договоримся, как мы будем называть друг друга.

— А что, Гога и Серега.

— Нет, тогда уж Игорь и Сергей.

— А не все ли равно?

Один вздернул плечи, другой усмехнулся — вопросы пока оставались без ответов.

— Для начала покажи мне свой аэропорт — где ты приземлился?

— Это ты приземлился, я — не улетал.

— Ну, не заруливай... ведь ты даже не в пригороде!

— Было такое желание...

И оба как-то вдруг приумолкли, подумав одновременно: «А ведь напрасно машину отправил... чужие».

Рулин указал рукой на дверь, приглашая в большую комнату. И они вошли.

Очевидно было, что держался Муравьев не просто свободно, но заинтересованно, он как будто заныривал всюду, куда обращал взор, оценивая обстановку для следующего освоения.

— О, здесь на уровень выше...

В комнате действительно было не заслежено: чисто, на окнах тюль и шторы, большой бельевой шкаф, который запомнился с детства, раскладной диван, круглый стол со стульями под люстрой, ломберный столик и еще небольшой диванчик с откидными подлокотниками, книжный с раздвижными стеклами шкаф без книг, заполненный посудой и всевозможными бытовыми безделушками; ширма и за ширмой полуторная кровать с бельевым шкафчиком рядом. Вот и этот шкафчик из детства. Побелено, покрашено, спокойные обои и свежая прохлада. Ко всему в открытое окно шелестел свежестью садик...

Муравьев внимательно глянул на Рулина и даже попытался улыбнуться.

— О'кей, все по возрасту. — И теперь уже он указал на дверь, предлагая продолжить инспекцию.

На кухне, крутнув головой по сторонам, ткнул указательным пальцем на дверь в кабинет:

— Там что?

— Там... — Рулин несколько смутился. — Место для чтения...

— О, это now haw! — И, не дожидаясь приглашения, сам открыл дверь и вошел первым. — О-о-о! Книги, рабочий стол, жаль — без Интернета, для отдыха. — Он сел к столу и развернулся в сторону Рулина. — Иконы и живая лампадка! Все путем. Только уместно ли?.. Зато, говорят, в этой стране нельзя устроиться. Как-то можно?

— Можно. — Рулин сдвинул брови. — Хватит ваньку валять. Гальюн будешь обследовать?.. Нет. Я жрать хочу. Ты будешь?

— Будешь. В первую очередь.

— Где изволишь?

И резиново растянулся рот Муравьева, он даже зубы показал — чистые, белые:

— Хорошо бы вот здесь — тесновато. Там, — он выставил палец в сторону большой комнаты, — сигаретами не стоит окуривать...

— Значит, на веранде.

Рулин вышел из кабинета — и за дело.

— А ты, Гога, иди помогай. Кто не работает, тот не ест.

— Так его, раб Божий... Чаек не забудь заварить.

Часы показывали без четверти одиннадцать, когда они сели к столу.

3

Наверно, оба не ожидали, что диалог начнется именно так:

— А между прочим... — начал Рулин, тыча вилкой в яичницу с ветчиной. — Да и вообще, ты с какой целью приехал?

Муравьев поджал губы, помолчал, выложил из кармана сигареты на стол и только затем ответил:

— Понятно, придется курить... Вопрос хороший и потому, что он первый... Я думал об этом и даже обдумывал вариант ответа, примеривался...

— Ну и как, успешно?

— Угу... — Муравьев тоже определял свой начальный перекус или завтрак. Впрочем, он уже завтракал. При помощи вилки на большую мелкую тарелку он поместил всего, что было на столе, и теперь взялся за привезенную бутылку с вином. — Там — я не думал об этом, но, когда послонялся по Москве, увидел и понял, как ее дополнительно изуродовали. Мне стало грустно. Я подумал, а может, и мы все вот так же изуродованы? Заглянул к бывшей, посетил знакомые квартиры — ответа не нашел. И неожиданно решил встретиться с тобой, потому что лет уже — за пределами отпущенного. И все...

— Оно, конечно, за пределами... Но ведь я не в Москве...

— Прости, но это я научился узнавать без затруднений — где.

— Может быть, и хорошо, что приехал. Авось грешки прояснятся. Теперь ведь иначе видится. — Говорил Рулин, а в душе думал: «А если не за этим приехал, если порисоваться, показать свою холеность, свою правоту, свое превосходство?»

— А потом, — похоже, грустно Муравьев усмехнулся, — в этом году шестьдесят пять лет нашего знакомства. Помнишь? — Думал он, однако, и другое: «Что-то и еще есть памятное: помнишь ли, Сергей Николаевич? За все отвечать и здесь, и там, откуда уже приходят звонки».

— Нет, не помню. — Рулин покачал головой. — У меня в том году ни мамы, ни папы не осталось, вот их помню.

— Помянем родителей. — Муравьев поднял стопку с янтарным вином.

— Помянем...

Кивнули друг другу головами, опрокинули винцо, принялись за еду. В пакетах, привезенных Муравьевым, было кое-что и соблазнительное в баночках, в скляночках — все в упаковке, стерильно. Но Рулин потянулся к черной икре: когда-то любил, давно не пробовал. И невольно подумал: «Надо бы по стопочке водки, тогда и закусывать приличнее». И Муравьев подслушал:

— Сергей Николаевич, а там, в пакете, есть «чертенок» нездешний — это коньяк. Может, по дозе сочиним? Как ты?

— Я по анекдоту. — И вяло захлопал в ладоши.

Когда выпили крепкого, Муравьев спросил:

— Как же все-таки называть друг друга?

— Да по мне, хоть горшком назови. А тебя проще бы Гогой.

— Ну а мне — Серегой?.. Отвык.

— Значит, как язык повернется...

И только через час-полтора, когда уже выпили коньяк и от янтарного осталось две-три стопки, разговор оживился, голоса обмякли, и уже не спрашивали, как обращаться, и оба не раз восклицали: «А помнишь?.. Помнишь!» И все-таки настороженность и напряжение оставались.

— Да ты, Сергей Николаевич, чем хоть занимаешься? Служишь, работаешь, дома ли химичишь? — возвратился к прерванному разговору Муравьев: не может быть, чтобы здоровый мужик дурака валял.

— Я? Я — доживаю. Двенадцать лет на пенсии. А так — кем только не работал, но не служил. В конце семидесятых едва не подзалетел.

— Это когда вы против евреев журнал рукописный делали? Тоже националисты!

— Похвальная осведомленность...

— Да и мужик тогда путевый был — Андропов. А вы на рога...

— Путевый для таких, как ты, диссидентов. А русаков через колено ломал.

— Так уж через колено... У наших к нему претензий не было.

— Я и говорю, он ваш — какие же претензии... Ты сам-то где служишь и кому? Слушал тебя по Би-би-си, а потом слинял.

— О, дела давно минувших дней... Где я? Служу в Лондоне, работаю на США... На пенсию у нас не уходят.

— Говорили, ты в ЦРУ подвязался...

Муравьев как будто вздрогнул, но тотчас спокойно усмехнулся: «И как это все расползается по шарику! Живет в Матренином дворе, а тоже знает».

Пришел Котик. Рулин выдвинул третий стул, пошлепал ладонью по сиденью:

— Котик, иди сюда.

Котик вспрыгнул на стул и тотчас начал умываться.

— Бывал и к ЦРУ пристегнут, — продолжал Муравьев, — но и это дела давно минувших дней. Да и что об этом...

— Против отечества работал и работаешь, всю жизнь — и как ты можешь?!

Муравьев сосредоточился и даже напрягся, так что Рулин отметил: «А хорошо держится, гвозди переваривает».

— Мог и смогу. Это я, друг детства, за Мордовию воздаю.

— Кому воздаешь, Гога? Исполнителям. И злоба, и разрушение оттуда идут, с Запада, из-за океана. Вот им и воздавал бы за смуту. А на Мордовию мы сами как на рожон раскрутились. Власть решили свергнуть — революционеры вшивые!

— Вшивые, но осилили, похоронили коммунизм.

— Так ведь и коммунизм — зараза от Мардохея...

— Не переводи на антисемитизм... Да и не переспорим мы друг друга. Но за ГУЛАГ получили — и поделом. Александр Исаевич фонарей им навешал.

Рулин отмахнулся рукой, и гнев сошел с его лица.

— Потьму, факт, трудно забыть. Но ведь понять труднее. Только теперь кое-что и проясняется: мировая война, мировая революция, истребление православного народа — это все по большому счету. А Мордовия в те дни что? Срок поменьше бы вдвое — и ничего, для науки... А семь, десять лет — лишка, для озлобления, чтобы мстили. На то и расчет был, чтобы по освобождении и в диссиденты, на довольствие ЦРУ. Иудейский прием... Я много думал, почему в так называемую оттепель заметали молодняк по лагерям... Не на убой, как при усатом, зато на озлобление, чтобы вот так и мстили, раскачивали, разрушали — и тут уж без наказания...

— Вот ты куда подкоп ведешь. Заговор со всех сторон шаришь?

— Что заговор? Заговор давно очевиден. Но ведь история не из заговоров исходит. Вот я и думаю: чем история хотела нас вразумить и что мы не восприняли?

— Это, Сергей Николаевич, человеку не по уму. Человек делает то, что считает правильным, — и это кирпичики для истории. А если начнут или начнешь на мозги нажимать, то неожиданно и поплывешь... Я ведь не просто так побывал в Англии, Германии, Франции, в Израиле, естественно, в США, и не просто туристом — всюду закручиваются такие дела, что под кожей мурашки бегают. Невольно думаешь: и как это до сих пор Землю вдрызг не разнесли. Да и Земля... Что Земля! Булыжник, внутри огненно раскаленный — достаточно полюбоваться на извержение вулкана. И этот булыжник летит в пространстве в своей тонкой воздушной оболочке — это же безумие!

— А если чудо творения? — заметил Рулин.

— И чудо... Но что это для человека? Если представить — ад бесконечный! И в этих условиях любая затея может представиться глупостью и злодейством... Но революции, перевороты, как и войны, необходимы, закономерны и обязательны в обществе людей.

— И ты подкоп ведешь... А прежде надо бы понять, куда подкоп, для кого угоден и что несет этот подкоп — отечеству, соотечественникам, мне, например, тебе. А уж если не можешь разобраться и понять, то и не лезь в волки, когда хвост телячий.

— Хорошо! — Муравьев засмеялся. — Давно не общался с умными людьми. У нас все только масть и держат...

Оба посмеивались, хотя были оба на взводе. И все что-то жевали, пили, и казалось, исподволь к ним возвращалось далекое прошлое.

— А помнишь, как мы в джазе вколачивали?..

Но и до джаза в университете многое можно было бы вспомнить, только ведь всю жизнь не обговоришь, когда тебе за семьдесят.

В первом-то классе подвели их лицом к лицу и сказали: познакомьтесь и будьте друзьями — обнимитесь... И они обнялись. Так до десятого класса и сидели за общей партой. И насколько же это были родные годы. Тогда еще жили отцы: у Гоги подполковник, у Сереги — ученый-историк. И экзамены на аттестат зрелости сдали отлично, так что с первого захода поступили в универ, однако не окончили и второго курса физмата. «Революция» помешала: Гога бредил свержением власти, Серега не хотел отставать от приятеля... Искали — и нашли.

— А что, джаз по тем временам тоже революция.

— Революция... Только я, видишь ли, образования так и не получил... Впрочем, девяносто девять процентов из Мордовии затерялись, не продвинулись, даже Краснопевцевы заглохли... Поначалу и документы никуда не брали. А потом поздно, поезд ушел — за тридцать перевалило.

— Надо было схитрить, на заочное... Я на сто первом жил после Владимирки, но заочно иняз окончил — английский-то я в Мордовии освоил, а остальное треп, туфта. Мордовское образование куда как лучше московского... А там второе образование получил.

— По шпионажу?

— Ну, ты так и залупаешься, как писал Александр Исаевич... А впрочем, и этому учили. Для другого мы там и не нужны. Иначе затрут — погибнешь, а жизнь-то одна...

— Одна, Гога, но она вечная.

— Хорошо бы, но я хоть и принял крещение в Мордовии не просто абы, сознательно, а всю жизнь сомнения — вот здесь, — Муравьев пошлепал ладошкой себе по сердцу, — живут, шевелятся...

«Кровь бунтует», — с досадой подумал Рулин, вновь переживая отчужденность от друга детства.

— Шевелятся, говорю, сомнения: ну, как это так — сгниешь, а там жить будешь! Желаемое за реальность... А уж воскрешение тела, источенного, сгоревшего, растерзанного диким зверьем, — ни в одни ворота. Если Бог всемогущ, Он в состоянии одарить человечество новыми телесами. И вот так, одно за другое, — происходит разрушение. Сомнения одолевают...

— А мне, Гога, кажется, ты и лба не перекрестишь... Да и знаешь ли ты хоть одну молитву...

— Пророчишь, раб... На этот счет у меня не только свое мнение. Сказано же: уединись, затворись и молись, чтобы никто не видел.

— Чтобы никто не уличил.

— И это в счет.

— Вот я и говорю: мы оба теперь уже не те... Что это нас тогда потянуло к бунту? Всю жизнь изломали, и не только свою...

— Надо ли напоминать... Потянуло, Сергей Николаевич, естественное желание свободы, железный занавес угнетал.

— Глупость и невежество, доложу вам, сударь. Подняли занавес — все дерьмо европейское к нам и хлынуло. Земля в вечных грехах, и мы силимся при помощи переворотов избавиться от них. А революция — это прямое самоубийство и для государства, и для граждан. Только враг может поощрять революцию или бунт в Отечестве. Изменения и перемены исходят из внутренней жизни общества.

— Это для ленивого царства, для обломовщины.

— Оставим... хватит. Мы на этом мостике уже сшиблись лбами.

— Ты, наверное, будешь прав... А помнишь...

4

Бравые были ребята-однокурсники — верили, что смогут мир перевернуть. Объединились в организацию, составили программу, проводили тайные заседания; сочиняли, размножали и распространяли листовки, готовились к захвату склада с оружием — они умели и знали все, лишь одного не знали: кто ими руководит, кто направляет прямиком на скамью подсудимых. Наивные юнцы, они оставались восторженными даже тогда, когда их всех арестовали. И на суде пытались дерзить, не оставаться в долгу перед судебной властью.

Тяжесть навалится в лагере, да и то на втором году, когда неволю уже не скрашивали родительские посылки.

А потом лагерное дело, организация партии: этапы, внутренняя тюрьма, следствие, суд — кому-то восстановили начальный срок, кого-то на штрафной, кого-то в крытую, во Владимир, а кого-то в Сибирь, в Тайшет.

Словом, всем место нашлось. И тогда уже без бодрячества, тогда уже душила неволя, суровый режим и голод — весело никому не было... После шести, восьми и даже десяти лет освобождались обозленные, готовые мстить хотя бы и ценой собственной жизни.

Рулин освободился через семь лет, Муравьев — через восемь.

* * *

— Помню, все помню... Только какая свобода! Бунт зажравшихся мальчиков. А через бунт к власти приходят худшие...

— Да ты спокойнее, нас ведь никто на запретку не гонит... Тогда, понятно, юнцы, полного понимания не было, идеи даже не было, тогда и в коммунизм с человеческим лицом верили...

— Верили, верили, — проворчал с усмешкой Рулин. — Зато теперь знаем: коммунизм, фашизм, перестройка — все едино, все одно из другого вылезает.

— Так уж и едино? Очевидны изменения к лучшему. Могу же я вот прилететь в Россию, могу свободно возвратиться. Сотни тысяч населения едут и выезжают за границу. Да и на христиан нет гонения, церкви восстанавливают: и Казанскую на Красной площади, и храм Христа Спасителя — видел... Не будь сопротивления, всех бы передавили. Никита даже обещал к восьмидесятому году последнего попа показать... А сегодня даже приятно: заглянул на родную Таганку, в Солженицынский центр, вышел, а тут и церковь — была закрыта, осквернена, а теперь отреставрирована, служба идет.

— Служба-то идет. И храмы открывают. Но политика такая, что люди с ума сходят — деньги, кровь, насилие! — общественная безнравственность. Если так, через четверть века церкви будут, а вот прихожан не останется.

— Ну, это, Сергей Николаевич, зависит от низов. Волю проявят, потребуют — все изменится, а нет — негритянское подворье. Ты согласен: история движется и независимо от людей, но государственная политика — это прежде всего люди, граждане, население, если хочешь — народ... Нет, я не жалею, что всю жизнь посвятил разрушению аварийной государственности...

— А я жалею... К чему, куда идем? Хотя разрушению я не способствовал, только вот, если считать, за компанию с Гогой. Но ведь за компанию, говорят, и жид удавился.

— В Штатах за подобные изречения немедленная оплата — по сусалам. Так что и в этом преимущество там... Давай, Сергей Николаевич, чайку подварим. Как говорил Никита Кривошеин, бодрячку кирнём... Ты говоришь, куда, к чему идем? Давно известно — к погибели. Но это процесс, в который могут быть внесены коррективы.

— Так-так, «процесс пошел», как приговаривал плешивый враг, которого в любом государстве давно бы к стенке поставили.

— Сергей Николаевич, а ты кровожадный! Отечество, заговор, враг — так и зациклился на этом.

— А ты на *том* — каждому свое...

* * *

Повторно приступили к чаю. Причем было заметно — они наблюдали друг за другом. Но за чаем оба как будто успокаивались, возвращались из прошлого в сегодняшний день, и беседа обретала мирный характер. Понятно, не объяснялись в любви! И что примечательно — оба отваливались на спинки стульев.

— Вам ведь кажется, это вы раскачали, вы развалили Союз за купоны с Запада. Только это не вы, власти предержащие, банда коммунистов — их работа, они и разрушили, разворовали государство, ограбили народ, а теперь стали миллиардерами, гласными и негласными, и уже двадцать лет грабят недра. Ни Бога не боятся, ни людей не стыдятся, заявляют, что такой-то швондер заработал тридцать миллионов долларов. Что это значит? А это значит за семь тысяч пятьсот лет средняя пенсия нашего

пенсионера. Ко всему это государственные доллары, которые в интересах государства и должны быть использованы... Все политбюро в предателях. А сколько крови на их руках! Зато как вовремя сварганили перестройку! Еще лет десять — и ушла бы власть из их рук. Коммунизм был уже переварен в чреве России...

— Верно говоришь. Но ты недооцениваешь Запад, да и внутреннее сопротивление недооцениваешь. На Западе десятки академий по изучению «империи зла», и отслеживали пристально все сдвиги и перемены. И уж никак не упустили бы власть в чужие руки. На это и ЦРУ работало и работает. Вы только пальцем шевельнете, чтобы покуситься на власть, как лидер ваш погибнет, дело расползется, а в государстве начнется очередная смута, в которой и всевидящий черт не разберется... Учитывать надо все. Запад двадцать первого века — это не татаро-монгольское нашествие. Сегодня технология на высшем уровне.

— Ну и что, окончательно нас задавят? Двое из одной сумы не спасут?

— Не знаю... Но целенаправленность такая заложена. Суди по историческим империям, по той же Византии. Не все сразу, но от империи осталась карликовая Греция. К концу нашего века может остаться Московское княжество. Завершится исторический процесс.

— Вот уж действительно: меня гнали, и вас будут гнать... Народ жалко.

— А что народ: вседозволенностью объелся — по миллиону в год сокращается... Лишь бы остаток был крепкий.

И замолчали, казалось думая об одном. Но как же далеки они были друг от друга — друзья детства и юности!

— А как твои — Марья с Владимиром Игоревичем? — неожиданно спросил Рулин.

— Мои? — Муравьев усмехнулся. — Володьке за сорок. Живет с какой-то кукушкой — и внука нет. И Марья с каким-то доживает — вдвоем. Я тоже вдвоем — там. Деловая, но и только. Зато меня ублажает... А ты так и холостякуешь?

Вздохнул Рулин, усмехнулся горько:

— Холостячу... Тогда, в тридцать лет, вроде бы женился, а она гуляющая — проб негде ставить. А как я мог угадать ее, когда с женщинами вовсе не имел дела? После лагеря соблазн — все красавицы. Разошлись. А тут у сестры муж, Виктор, в аварии погиб. Осталась с тремя, младший на руках. Вместо отца и был для них лет пятнадцать. Оглянулся, пятьдесят показались — пора завязывать. И завязал. — Усмехнулся и веки дрожащие прикрыл. — Закончились Рулины.

— Купи суррогатную бабу — она тебе и выносит наследника.

С гневом и болью глянул Рулин на Муравьева:

— Какую же ты, Игорь Ефимович, пошлость говоришь — плоды цивилизованного Запада. Да одной такой фразой можно целый народ унизить. Пошлость — это ведь яд цивилизации. Даже содомский грех Европа на щит подняла — тоже права человека! Как и ваши права, но чтобы человек этот был евреем.

— Не надо, Сергей Николаевич, не то ведь дуэль...

— А что, пристрелить друг друга — и то достойнее однополой цивилизации.

— Это уж совсем — капуста... Давай-ка допьем из этой склянки да распечатаем свежую...

Налили в чайные чашки.

Выпили, закусили виноградом и тотчас как будто подобрели, обмякли. И усмехнулись без гнева, но, увы, ни один из них не воскликнул: «А пом-

нишь?..» Наверно, потому, что теперь следовало бы вспоминать лагерную жизнь, потому что после освобождения общих воспоминаний не было.

Муравьев красиво закурил. Из сигареты с дымком исходил приятный аромат — и никакой удушливости. После каждой редкой затяжки он легонько вскидывал руку с сигаретой так, что от сигареты отрывалось колеблющееся из дыма колечко — и это представлялось поводом для курения... Все замечал Рулин, все оценивал по своим оценочным меркам и даже завидовал элегантным манерам друга детства. А ведь и он мог бы таким вот быть, но для этого надо было ненавидеть...

— Ты, Сергей Николаевич, тему затронул любопытную: о хрущевской посадке молодняка. Не можешь ли подробнее изложить, кратенько? Я и сам не раз об этом задумывался.

Рулин и плечи вздернул:

— Не знаю, Гога, для меня все ясно, говорить не о чем... Я даже не помню, что сказал.

— О связи посадки с диссидентством — диссидентство все-таки дело мое, а не Сахарова. Мы ведь его и женили на Боннэр, и за веревочку дергали мы...

— Понятно. Конкуренция: один водородную бомбу присвоил, второй присваивает диссидентство... Ладно, ладно, не ершись. — Рулин и ладонь выставил вперед. — Понятно, Хрущев — прогнивший мокрушник и троцкист, понятно и то, что ему тоже перестройка грезилась: зачем бы и Сталина разоблачать, он ведь и себя разоблачал. Но сделать он это хотел по-хохляцки, сам. Не удалось бы — упыри-конкуренты были, и фронтовики молодые не все спились, а стрелять они умели. Да и усатый кое-что дозволил, за что можно было и постоять. Тогда Хрущ и взялся за подготовку почвы. (Кстати заметить: работал Никита под дурачка, как затем и Ельцин, правда, последний перещеголял всех. С дурака-то и взятки гладки!) Он крушил церкви, сжигал церковную утварь, окончательно добил сельское хозяйство. Ну а чтобы подготовить диссидентство, устроил так называемую оттепель. Молодняк и вздрогнул, проявился — молодняком и заполнили поредевшие нары. Там и взращивали диссидентов. Помнишь, наверное, за что сроки навешивали? За Дудинцева — сотни заключенных! «Не хлебом единым» — дрянной роман — издали, в институтах предлагали обсудить роман, высказать собственное мнение. Обсуждали, высказывали — и пачками получали сроки. Издатели процветали, автор процветал, а молодняк, простите, ни за хрен собачий сидел. Ради чего? А чтобы диссидентами стали. Хотя русаки в основном откидывались в никуда — и вот что печально: ни в чем не проявились. «Гениальные поэты, философы» и прочие болтуны, вроде меня, так и канули в болотную трясину — не всплыли... А диссидентов не трогали, вы делали все, что хотели, — все эти Амальрики, Буковские и Боннэры выпендривались, как Жу́чки на тарелках. Запад и Америка рвали глотки: пустите репатриантов в Израиль! Кто засвечивался, утомлялся, тем позволялось выехать за бугор на отдых, на курсы усовершенствования. Тебя надо было на Лубянку везти, а ты выехал в Израиль... Причем заметь: отсидел срок, всего-то несколько лет проходит — реабилитируют, снимают судимость за отсутствием состава преступления. А это чтобы языки развязать, ликвидировать сто первую версту... Сходка в Москве.

— Нет, Сергей Николаевич, не убедительно... хотя кое о чем я и сам догадывался. Скажем, понимал, что в Кремле есть свои люди, но чтобы так высоко — не думал!.. А то, что ты сказал, — только догадки воспаленного ума. В таких случаях необходимы факты и доказательства...

— *В таком случае необходимо* расследование, документы и архивы, которые, если не сожгли, откроют ну лет через двести...

— Короче, слова, вода в ступе...

* * *

— А ты мне скажи: почему такая злоба и ненависть к России и русским со стороны без малого всего Запада? Ведь даже мы студентами говорили: дядя Сэм поможет. Круговая злоба. И лишь император Александр III прав был, говоря: у России друзей нет, кроме армии и флота. Так ведь и армия с флотом предали! Болгары, братья по крови и вере, которых Россия вытащила из-под турка, воевала против. Ты там крутишься — скажи: почему такая злоба и ненависть?

Муравьев усмехнулся. Хлебнул чайку, еще и еще, и отставил чашку. Лицо его вдруг побледнело и сделалось как будто проницаемым. Он извлек из кармана круглую лекарственницу, проглотил таблетку.

— Я ведь, Сергей Николаевич, не пророк ветхозаветный, чтобы знать исторические тайны, знать то, чего не могут знать смертные. Я — смертный, могу знать, с чем соприкасаюсь сегодня. Историческая ненависть субъектов к субъекту обсуждению не подлежит, потому что это уже история, чаще всего независимая от человека...

— И что ты мне телегу в мешок тискаешь?! «История», «пророки», «субъекты»! — На этот раз засмеялся и Рулин. — Ты мне скажи: почему Запад как пес на Россию лает? Ведь при таком положении и железный занавес оправдать не грех.

— Во-первых, Сергей Николаевич, в нашем возрасте нетактично, спрашивая, ответ прерывать; во-вторых, я и хотел сказать: собаки лают обычно на воров... В такой манере разговор наш не заслуживает продолжения. — Прикрыв глаза, Муравьев помолчал. — Но так как мы друзья детства, то о сегодняшнем сценарии скажу откровенно. Во-первых, Россия — слишком лакомый пирог. Со всех сторон тянутся, чтобы урвать: Япония, Китай, Казахстан не в счет — уже объелся российской землей, Северный Кавказ, Молдавия, Европа (Польша, Финляндия), Прибалтика, и конечно же Америка не против перекинуть мост через Берингов пролив. Всем хотелось бы разделить этот пирог — и властвовать. Недра, вода, а с потеплением климата Сибирь с Байкалом — чем не малина? И мне кажется, после перестроечной разрухи, после второго расчленения империи Россия в конце концов падет... А еще христианство, в конкретном субъекте Православие. И вот это, наверное, и спасает вас. Если Православная Церковь поплывет — конец всему. Вроде бы все сделали для того, но вынырнул этот верткий чекист-разведчик. Он конечно же на поводке, пристегнут, но частенько умнее или хитрее вожатых. Если он действительно умный, то, пока есть возможность, подготовит правительственные кадры из своих, причем совместно с Церковью. Ну, и само собою — перевооружится, а для этого необходимо осваивать свои технологии, электронику и т.д. Можете выстоять... А если двое из одной сумы уйдут, а явятся новые «Пунин и Бабурин», без подготовленной элиты — пиши пропало... Я отвлекся: поэтому, говорю, зубы вострят и на Православие. А как довесок — вспомни, кому Россия по сусалам не подносила. Сдачи-то дать охота, вот и копят злобу... Отсюда и ненависть.

— Ну, это все известно... Только ведь война не прекращается, революция продолжается! Лишь фасады меняются: то горячая, то холодная, то мировая, то локальная, то освободительная... И революции косяком

цветные, блатные, перестроечные — сверху, снизу, из-за бугра. Или дорогу мостят для мировой власти?

— Зачем мостить? Уже готова... Но ты прав: война мировая продолжается даже не с начала двадцатого века. Перевороты косяком — и все это во имя разрушения неповоротливого, дряхлеющего мира. Тут у вас есть один редактор сверхстарательный, так тот объявил как-то, что ему нравится, когда города разрушают, бомбы на головы падают, — прямолинейность дурака.

Теперь Муравьев говорил более спокойно и наставительно, и это тотчас отметил Рулин, подумав: «Неужели таблетками он регулирует настроение и состояние?»

— И необходимо понимать, в конце концов, за счет этого мир обновляется; одряхлевший, застойный народ вымирает. И это жизнь. — Муравьев даже руки развел на стороны, нет, не широко, а так — эстетично.

«Какие у него руки ухоженные, — вновь отметил Рулин. — Да и весь он гладкий и холеный, только вот несет какую-то несуразицу... Что это, установка или философия утраченной жизни? Впрочем, какая разница?»

Между тем Муравьев спокойно продолжал:

— Запад нередко обвиняют в стравливании народов или религий. Слава богу, в терроризме не обвиняют. Но ведь называли же Россию «жандармом Европы». Тогда Россия была сильной. Сегодня в силе другие государства, не будем говорить, за счет чего. Необходимо какой-то порядок в мире соблюдать...

— Знаешь, соблюдать порядок и устанавливать новый мировой порядок — не одно и то же... Нет, Гога, ты явно зарапортовался. Даже не замечаешь, что проповедуешь какую-то человеконенавистническую идеологию или теорию. Впрочем, и практику. То, что ты говоришь, сегодня осуществляется на деле.

— Помилуй, Сергей Николаевич, но ведь это не доклад в ООН, а частный разговор, сиюминутные суждения. — И усмехнулся добродушно. — А ты мне шьешь новый срок.

— Я ничего не шью. Но считаю, что в словах человек выражает себя, свое внутреннее я, даже сокровенное, ту атмосферу и среду, в которой он вращается. И ты не можешь в частном разговоре толковать о существовании неизвестных существ на неизвестной планете. В любом случае ты будешь говорить о себе и окружающем тебя мире или о сознании той среды, в которой ты обитаешь.

— А тебе не кажется, что наш разговор своей беспредметностью напоминает наши лагерные мудрствования?

— Нет, не кажется. Тогда все было примитивнее и жесточе. Правда, и тогда уже человеконенавистнические замашки проявлялись.

— Ты что это имеешь в виду?

— Да ничего... Говорю, сто лет не виделись, сошлись — и поговорить не о чем, только о политике.

— Нет уж, ты не дави меня в туман, говори, что ты имеешь в виду. Чтобы мне не повторяться.

Все это время Рулин посмеивался. Он и далее говорил с усмешкой, но не веселой была эта усмешка.

— Так тебя и воротит на стену. Так таким и остался. Скажи мне, тебя хоть и крестил отец Иван, а там, в Лондоне, ходишь ли на исповедь?

— Нет уж, — упрямо возразил Муравьев, — ты скажи мне, что имеешь в виду, говоря «человеконенавистнические замашки»...

И Рулин поджал губы, поперечная складка от переносицы вверх потемнела.

— Скажу, — не менее упрямо согласился он. — А чтобы нагляднее, на собственном примере... Ты, наверно, помнишь ту чахоточную партию, которую сляпали на седьмом. Ты был активным организатором и всех своих подельников буквально повязал с этой партией — понятно, и меня. Как же, где Гога — там и Серега. Но когда я узнал, что выхода из партии нет — только через смерть, меня это до крайности возмутило. И на малом сходнячке я взбунтовался — ты должен это помнить — и заявил, переходя на крик: «Это что?! Фашистская партия?! Это что — революционеры-убийцы, в рот ноги?! Плевать я хотел на такую партию — убивайте меня первого!»

Я запомнил эти слова на всю жизнь. В тот же вечер ты говорил со мной с глазу на глаз. Говорил как фюрер, но и убеждал меня. Не убедил.

И вы для начала устроили мне бойкот. Это я еще мог выдерживать, но когда неизвестно кто стукнул куму «на партийцев» и кум начал дергать по одному для раскола — не знаю, с чьей подачи, вы решили, что настучал я. И до того как начали дергать на этапы, оказалось, во внутреннюю, на следствие и суд, вы травили меня как обезьяну в клетке — все травили, изощренно травили, бессовестно и беспощадно. А ведь тебе достаточно было сказать: прекратить! — и травля прекратилась бы... И за месяц-полтора довели до того, что я, обезумев, решил покончить с собой — сунул свою глупую головушку в петлю. Дневальный в секции вынул из петли. Вот она, метка, на всю жизнь осталась! — Рулин запрокинул голову, похлопал себя по подбородку, но метки не было видно, борода мешала. И заклокотало что-то в его горле... — Понятно, детская выходка, но тогда это должно было обернуться самоубийством, покушением на Господа... Спасибо курянину Косте Данилову, его добрые отношения вывели меня из тупика. А вы продолжали травлю, но тогда уже я лишь злобно смеялся в ответ...

На следствии, по крайней мере, выяснилось, кто стучал. А тогда?.. — Рулин вытянул шею в сторону Муравьева, и оголились зубы его, съеденные, с пустотами. — Тогда — что? Или это не человеконенавистничество?! Да это надругательство над совестью и над образом человеческим! Что, или не так и полвека спустя? — Рулин плюхнулся на стул, отвалился на спинку, прерывисто вздохнул и усмехнулся. — Ну, блин старый...

Опустив взгляд, Муравьев молчал, долго молчал, не шелохнувшись. Наконец механически размеренно сказал:

— В любой политической фаланге должна быть железная дисциплина. Это элементарно. В любой зачаточной организации или партии неизбежны крайности — элементы нечаевщины. При любом заговоре не должно быть ни друзей, ни родственников. Это катехизис. — И замолчал, по-прежнему подпирая подбородком грудь.

— Понятно — бесы, только мелкие.

— Не надо, Сергей Николаевич, это мне и сегодня дорого, как и продолжение начала. Изменять нельзя даже самому себе.

Рулин с удивлением смотрел на Муравьева:

— Однако ты железный... Феликс!

Муравьев медленно восклонил голову и скупо улыбнулся.

— До отбытия на Запад это была моя партийная кличка.

— Вот как — с кликухой! — изумился Рулин. — В таком случае, Гога-Феликс, предлагаю прогуляться в садике, очень уж ты насмолил, и наговорили... Дышать нечем.

* * *

И они вышли в садик, запущенный и даже дремотный в зелени.

Как только свернули направо, за веранду, в глубь садика, так и столкнулись с кустом королевского жасмина. А цвел он божественно! Муравьев даже голову вздернул, быстро шагнул вперед:

— Какая прелесть! — Он развел руки, как если бы намеревался обнять куст. — Сергей Николаевич, это же здорово! Наверно, никогда не видел такого цветения... А я все принюхивался, но понять не мог, откуда такой запах на веранде...

— А это от сигарет! — удачно ввернул Рулин, и оба они сдержанно засмеялись, на время забыв о теме человеконенавистничества.

Дорожка в садике одна — достаточно, чтобы пройти рядом. Под одной яблоней скамейка, под другой — шезлонг и старый стул с газетой. Прошли по дорожке раз, прошли еще, возвратились к жасмину.

— А знаешь, хорошо тут у тебя — тихо, и никого с глазами, кроме кота. — Муравьев даже взял под руку Рулина, и они какое-то время молча любовались пчелами на цветках.

— В лагере, в тяжелые часы и дни, я о таком мечтал. Но обменял на однокомнатную московскую квартиру в бетонном доме после шестидесяти.

— Нет, я о таком не мечтал. О чем мечтал, то и получил.

— Значит, жизнь удалась, не зря прожита?

— Ну, не все так... не совсем. — Заметно было, что-то Муравьев не договаривал, поэтому, наверно, тотчас и переключился на другую тему: — Все никак не спрошу, а чем ты, Сергей Николаевич, занимался до пенсии, да и после выхода на пенсию — чем занимаешься? Служил, работал? У тебя-то как жизнь сложилась?

— У меня? У меня тоже не все так... не совсем... Да и что я? Я — дома, и все мое — мое, горькое и сладкое. Это ты во вражьем стане...

— Для меня он не вражий.

— Видишь как! Стало быть, мы — враги... О чем мечтали-думали, в тартарары обвалилось... Дал мне Господь не один талант, живи и радуйся, но все их пришлось закопать в землю. Легче оказалось тому, кто до посадки образование получил, на ноги встал... А нам топором по голеням — и не дыши.

— Это потому, что ты вошел в дело, но не до конца... А что же ты не скажешь про две изданные книги, художественные?

— А тебе как знать? Странно.

— Ничего странного — элементарно: запросил о тебе сведения, и все.

— Издал, — после раздумья согласился Рулин. — Не то, что хотелось бы издать, да и написать. Ленив. Наверно, и кишка тонка. Видимо, все-таки не свое дело.

— Мне любопытно было. Персонажи узнаваемые и события тоже. Вот и Никита Кривошеин довольный остался... Но дело, по написанному судя, ты прав, по большому счету не твое... Хотя наработать можно. Современная литература не на художественности держится — на взрывах и неожиданности. И мудрецов ветхозаветных сегодня нет. Даже духовная литература упрощена... Я ведь тоже издал книгу... на английском языке. Бестселлера не получилось, отложил это дело...

Так и прохаживались по дорожке. Муравьев придерживал Рулина под руку. И Котик то охотился за их ногами, то валялся на траве, перекатываясь с боку на бок. Низко по деревьям порхали синицы, но сытый, ленивый Котик не обращал на них внимания. В соседнем дворе тявкала по случаю собачонка, а по дороге мимо дома за все время проехала единственная машина.

— Удивительно, — приостановившись под низкими ветвями яблони, с искренним изумлением сказал Муравьев. — Садик у тебя маленький, неухоженный, заросший полудиким кустарником, так что и ограды не видно, но какая-то особая здесь тишина, как хорошо здесь у тебя быть! Кажется, ничего подобного не встречал. Удивительно...

— А это, Гога, потому так, что здесь родная земля, для нас она святая, Московское княжество, и даже вандалы не могут лишить нас этой святости. Вот ты и чувствуешь сердцем, душой, что ходишь по родной земле. Ведь она живая...

Муравьев усмехнулся:

— И откуда у тебя это? У коренного москвича откуда? Ведь ты, как, впрочем, и я, не можешь даже сказать: «Мой дед землю пахал». Не хочу разбираться, прав ты или нет, но здесь у тебя хорошо.

5

Ближе к вечеру небо нежданно заволокло. Не то чтобы тучи, черные, грозовые, а так — облака и тучки дождевые надвинулись с юга. Потянуло сыростью. На веранде затрещала цикада. День как будто угас. При открытых дверях стало неуютно. Посовещались и решили перебраться в большую комнату, за круглый стол. Задернули шторами окна, включили верхний свет — чем не уют! — и продолжили «гонять чаи».

И в какой-то час было растворились взаимная недоверчивость, недосказанность, взаимная обида, негодование, как если бы оба осознали свой возраст, свой очевидный закат, свое неотвратимое угасание, когда нелепыми становятся любые претензии. Так что и речь повели касательно возраста.

— А ведь жизнь, Сергей Николаевич, что-то очень уж скоренько просвистела. Иногда чувствую себя, как чувствовал после освобождения, зато посмотришь на себя в зеркало — смотреть не хочется, одна лысина что стоит — и подумаешь невольно: когда и успел?

— Ну, во-первых, мы еще живы, а вот большинство подельников наших *уже там*. Да и сказано: семьдесят лет достаточно для человека, по крайней мере — восемьдесят... — Рулин невесело усмехнулся. — Что, Гога, или поджилки трясутся?!

— Ты, Сергей Николаевич, знаешь, я не из таких! — укорил Муравьев. — Естественно, нет желания заглянуть за край... И когда представишь пир источающих тебя — как-то не по себе, и передернет.

— Нет, а я спокоен. Последние лет тридцать пять я штатный прихожанин. Исповедуюсь, причащаюсь, соборуюсь, а ведь это уже вечность. Какая уж она, вечность, не знаю, но верую: земная жизнь это лишь этап — от пересылки до пересылки.

— Знаешь, насмотрелся я на всякие религии, очень уж часто не стыкуется. Иудеи, католики, протестанты, англикане, мусульмане, а уж сект любой масти — от бурбонов до мормонов. И удивительно, все как будто сплоченные, уверенные в своей правде. И вот среди них по Европе и Америке бродят разрозненно то ли гонимые, то ли неприкаянные православные. И ведь друг за друга не постоят, что-то выжидают, да еще и оппонируют... Посмотришь на всю эту человеческую ярмарку, к тому же развращенную, и подумаешь: нет уж, легче никуда не ходить, а уж если поклоняться, то *силе и разуму*...

И посмеивался, и покашливал Рулин. И, прикрыв глаза, покачивал головой.

— Дохляки мы, Гога, дохляки — вот мы какие! Я, грешный, маловер, а ты и вовсе без веры, ладно хоть ненависти к Православию нет. А то ведь иноверные демократы так злобой и пышут...

— Да не «пышут», за ересь считают. Я когда только из Союза отвалил — словцо-то какое! — почти год жил в Израиле, ну никак привыкнуть не мог: Иисус — сектант и авантюрист, Иуда Искариот — герой, патриот... Все наоборот.

— А что, потом привык?

— Потом уехал в Британию... А в общем, так — привыкаешь. Даже если не соглашаешься, привыкаешь к словам, к голосам, к общественному мнению... Иисус — человек. Какой же Он Бог, если Его родила еврейка от законного мужа? Как у Льва Толстого, правильнее — у Толстого, как там... А у западных христиан уж очень много паршивых пастырей: то гомики, то детей растлевают, то женщины в священническом сане, ясно — будут и епископами. В храм прихожане не ходят — начинают развлекаловкой заманивать. Словом, всякой твари по паре. А для меня сплошняком сомнения. И понимаешь, что в таком состоянии делать нечего в храме.

— Но есть же православные приходы?

— Есть, но их мало — неудобно: то далеко, то священник не по душе...

— То дождь моросит. Правда?

— Так, Сергей Николаевич, так... А главное, нет ведущей веры...

— Так что, Муравьев, живешь без веры.

— Можно и так сказать...

— Я тоже болтался не один год как это самое в проруби. А ведь с младенчества крещенный, до школы бабушка Катя в Елоховский водила, но приучили же к атеизму — будь здоров! Тоже сомнений пережил — ужас! И особенно какая-то обломовская лень, оправдание всему — вот не пошел, и ничего... Привычка, брат, в этом деле необходима. Но я все-таки перешагнул эту мертвую зону... Задумался: как же это так — единственная живая Земля во Вселенной, единственные разумные существа на ней — люди, и вот эти единственные, разумные являются в жизнь, чтобы умереть — и с концами. Это же не только не справедливо, но и нелепо, бессмысленно. Понимаешь, Гога, смысла нет. Ведь если нет смысла, стало быть, нет смысла существования в общем и целом — и планеты, и людей. Нет смысла — жизнь прекратится вопреки всему! Ведь простое колесо, великое изобретение человечества, не может обернуться в вечный двигатель. Стало быть, первостепенное значение в жизни на земле — высший смысл, личное бессмертие, дарованное человеку Богом. Не природой, эволюцией или революцией, потому что природа не в состоянии даже разумно переместить духовного человека из этого мира в мир иной, а Богом... И вот когда я своим умишком углубился в эти явленные размышления, тогда и веру иначе воспринял. Вера, бди, стала естественной моей жизнью.

— Любопытно, пожалуй... Нет, а я всегда стремился отделить веру от земли, от земной жизни. Я считал, да и теперь считаю, что земная жизнь несовместима с верой. — Муравьев замер в задумчивости. — А вот объяснить этого не мог и не могу. Видимо, такой подход скорее суеверие.

«Что это он городит? Или я притупился в старости?» — подумал Рулин, внимательно наблюдая за Муравьевым.

А он действительно не думал, может быть, и не понимал, о чем говорил Рулин. Думал Муравьев о прожитой своей жизни — и чувствовал себя как после проигрышного преферанса. Вроде бы все тот же, но и